

КЛЕЙН, Борис. НЕДОСКАЗАННОЕ

Главы из воспоминаний, посвящённые писателю Алексею Карпюку

По изданиям:

1. Клейн, Б. Недосказанное / Борис Клейн; предисловие: В. Корнелюк, И. Соркина. – Минск : Лимариус, 2019. – 340 с. : ил.
2. Клейн, Б. Недосказанное. Имена / Борис Самуилович Клейн – Минск : Лимариус, 2008. — 456 с.

Красным цветом выделены дополнения к воспоминаниям из книги 2008 года

Единственный ныне живущий участник «гродненской группы», я расскажу, с какого времени мы стали держаться вместе с Василем Быковым и Алексеем Карпюком, что довелось вынести, пережить. Память может меня в чем-то подвести, а другие напишут о случившемся иначе. Это в порядке вещей. На то и мемуары, чтобы посмотреть на минувшее под своим углом зрения.

С Алексеем Карпюком я повстречался впервые в Гродно сразу после войны, когда он учился в Пединституте вместе с моим братом Львом^[33] (впоследствии профессором Санкт-Петербургского и Венского университетов). В нашей квартире на улице Энгельса Карпюк делился своими заботами, а когда добился первых литературных успехов, он шел сюда, чтобы сообщая им порадоваться. В один из ранних своих очерков^[34] он вставил монолог хирурга Аси Моисеевны — моей матери. Настало время, когда сблизилась и наши жены — моя, Фрида, и его, Инга. Настоящую популярность принесла ему повесть «Данута», окрашенная тем целомудрием довоенного любовного влечения, которое еще не стало тогда старомодным. [...]

В центре старого города все было на виду. Не могло оставаться незамеченным, что по вечерним улицам Гродно систематически ходят вместе Карпюк и Клейн, о чем-то все спорят, а может и сговариваются. Когда же нас стало трое, включая теперь и Быкова, а уличные прогулки дополнились и взаимопосещениями квартир, наши маршруты стали все более явно отслеживаться. Впрочем, неудивительно, что наблюдали за автором произведений, получивших международную известность, — но отнюдь не такую, какая устроила бы власть. Надо думать, после выхода в «Новом мире» повести Быкова «Мертвым не больно» возникшие ранее у влиятельных лиц подозрения переросли в уверенность, что в пограничном белорусском городе формируется идейно чуждая и политически враждебная группа интеллигенции.

Однажды летним днем 1965 г. я изучал документы Гродненского областного архива. Неожиданно начальник архива сказал мне, что кое-кто во

дворе хочет со мной переговорить. Там гражданин без особых примет предъявил удостоверение КГБ. Любопытно, чем мотивировалось обращение органов именно ко мне с предложением стать секретным сотрудником. Во-первых, в пользу этого говорила успешная защита мною кандидатской диссертации. Далее, имелись рекомендации компетентных людей, что на меня можно положиться, как на человека с кругозором и ответственного. Такому, мол, и можно доверить изучение изнутри настроений интеллигенции в обстановке, когда враг не дремлет... — и т. п. Выгоды же от сотрудничества для меня очевидны, — подчеркнул он. Для начала будет работа на месте, затем командировки по стране, а там, глядишь и за границу. Пойдет неплохо и научная карьера, с гарантией продвижения.

Тут считаю нужным сделать оговорку, что к работе органов безопасности я относился с пониманием. И вербовщика заверил, что если натолкнусь когда-нибудь на шпиона, то приду и выдам его. Но сверх того ничем полезен быть не смогу, ввиду полной профессиональной непригодности для подобных занятий. Он не пытался меня разубеждать и корректно распрощался, взяв однако обещание, что наша беседа разглашаться не будет. О подобного рода ситуациях, как известно, нередко рассказывается в воспоминаниях из тех лет. Но правду ли говорят мемуаристы, остается па их совести. Мне тоже не на что сослаться в подтверждение, кроме как на свою уверенность: не отыщутся в органах мои расписки или какие-либо иные обязательства, поскольку я их никому там не давал.

Но поведение мое все же было небезупречным, ибо в тот же вечер я пришел домой к Быкову и рассказал, что произошло. Василь заметил, что это вторая известная ему попытка организовать за ним слежку. Не знаю, он ли интересовал их, или Карпюк, или кто другой: мне объект наблюдения был назван обобщенно, — интеллигенция. Вот в ком нашли противника, это точно. Им, конечно, было виднее. [...]

Конечно, правда доходила и до нас, пусть с опозданием. Нельзя было отрицать, что в начале 1920-х эксперимент со введением коммунизма провалился, а советское общество распалось до такой степени, что люди начали есть людей. Ленинское окружение уже не стало выдумывать новые утопии, а во главе с вождем, ради спасения обратилось к проверенному веками способу: ввело свободу торговли. Отчего же, рассуждали мы, не вспомнить этот собственный, преподнесенный историей урок свободы? Если невозможно всем сразу, пусть начнут коренные реформы самые развитые. Конкретно шла речь о Чехословакии[35], занимавшей перед войной одно из первых мест в Европе по производительности труда и уровню жизни.

Но не буду скрывать, это был для нас с Алексеем только исходный пункт в том духовном процессе, который в обвинительных материалах назовут «идейным перерождением». Процесс был долгим и упрощать случившееся не стоит. Почему не осваивать западный опыт? Но никто не проявлял желания что-то менять. Стена молчания... Это потом стало

очевидно, что страстные дискуссии о будущем страны ведутся попусту. Бдительно охраняемая от идейных противников, на деле партийная идеология отмирала. Как в Москве, так и в республиках СССР задавали тон беспринципные чинуши, — та самая каста, которая пустила на ветер плоды военной победы народа. Это ей достались, в основном, трофеи, жизненные блага и привилегии. Пытаюсь вызвать из памяти вереницу сменявших друг друга послевоенных «хозяев» Гродненской области, — региона с более чем миллионным населением. Не лица, — безжизненные маски. Соответственно подбирались и их челядь. [...]

Мы жадно следили за событиями в «соцлагере» и замечали, что центр событий как бы смещается к западу. Сторонники смены политического курса явно перехватывали инициативу. Правда, нажим из Москвы усиливался, но неясно было, решатся ли в Кремле на применение силы. А словам пражские «реформисты» не поддавались. Вот мы и внушали себе, что смелость, мол, города берет, и тем смельчакам в Праге, может, что-то и впредь позволят ...

Этот настрой будоражил, сводил вместе людей в неожиданных сочетаниях. Остался у меня в памяти скромный «пикник» на не-манском берегу с участием Быкова, Каршока, московского критика В. Оскоцкого, поэта Н. Гилевича. Говорили много о чем, спорили, но без раздражения, старались нащупать общее. Встречались тогда в разном составе, и бывали с нами литераторы — поляки, иногда даже появлялись румыны, чехи.

20 июня 1969 г. Председатель КГБ СССР Ю. Андропов направил в ЦК КПСС письмо, с содержанием которого я познакомился много лет спустя, по опубликованным в российской прессе фрагментам[36]. Вот один из них: «Комитет государственной безопасности Белоруссии располагает данными о политически нездоровых настроениях белорусских писателей — члена КПСС Карпюка и Быкова». Второй фрагмент: «Карпюк нелегально распространяет среди своих знакомых различные пасквили в виде книги Гинзбург-Аксеновой «Крутой маршрут» и другие. Отрицательно воздействует на молодежь...» Третий фрагмент: «В настоящее время к Быкову проявляют повышенный интерес идеологические центры противника...» Окончание андроповского письма было таким: «Комитетом госбезопасности Белоруссии с санкции ЦК Компартии республики готовятся мероприятия, направленные на разоблачение возможных враждебных акций со стороны названных лиц».

Этими «названными лицами» являлись Карпюк, Быков и автор этих строк, в то время доцент, Б. Клейн, упоминавшийся в том же письме в качестве «отъявленного антисоветчика и сиониста».

Выходит, наша участь, о чем мы еще не знали, а только догадывались, — с того момента была предрешенной. Но по-моему, «конструкция» заведенного дела выглядела не очень солидно. Относительно проще было изобличать меня как еврея, так как антисемитская кампания в стране велась довольно интенсивно. Но как объяснить общественности крамольные поступки известных белорусских писателей-фронтовиков, а уж тем более их переход на чуждые политические позиции? В Беларуси, считавшейся

идеологически «здоровой» советской республикой, требовались какие-то веские доводы для обоснования репрессий против таких людей. Эти доводы искали в биографиях...

Я не занимался сбором о Карпюке «оправдательных» документов, просто знал в течение многих лет, как и чем он живет. Мне есть что сказать об этом действительно незаурядном, разносторонне одаренном человеке, который был моим другом. Его образ мне не нужно вызывать в памяти, он является, как будто мы расстались вчера. Такой же улыбчивый, доверчивый до наивности, импульсивный, — «большое дитя», — говорили о нем и так. Все это бросалось в глаза, но глубоко сидела в нем забота.

Действовала, если так можно ее назвать, «компонента» сознания, двигавшая Карпюка навстречу ситуациям, опасным и для него самого, и для близких. Я бы не стал причислять Алексея к разряду симпатичных, но взбалмошных борцов против «зла». Он знал, против чего восставал.

Но не думаю, что он был враждебен ко всему советскому. Сам от природы добрый, он хотел верить, что новая власть установлена была для блага его земляков. Радовался переменам, сулившим хорошее. Помнил, что воссоединение белорусов произошло в составе СССР.

Важно иметь в виду другое: он вошел в советскую действительность, зная по личному опыту и иной образ жизни. Не вина Алексея, если сравнение одних порядков с другими не раз приводило его к горьким мыслям. А заморочить ему голову лозунгами было невозможно. Он не раз говорил о своей родне — православных крестьянах, белорусах не по одному лишь факту рождения, а по осознанному культурному выбору.

Для него «западники» — это были те, кого не подкосила коллективизация 1930-х, кто сохранили участки собственной земли (отца Карпюка даже причислили за это к кулакам). Ущемленные во многом на отсталых «всходних кресах» Польши, они все-таки выбирали в Сейм собственных белорусских депутатов.^[37] Читатели свободной прессы, забастовщики, ставившие условия хозяевам предприятий, батраки, получавшие в сто раз больше тогдашних советских колхозников, верующие, у которых все же не отнимали пастырей, — могли ли они смириться с потерей элементарных жизненных благ в обмен на обещания, цена которых была крайне низка?

Алексей к тому же учился в Виленской гимназии, он провел юность в центре культурно-национальной жизни и общественных движений четырехмиллионного региона. Мы много говорили с ним на эти темы, и я твердо знаю, что он не был апологетом межвоенных польских порядков. Нов отличие от других, умалчивавших об этом, он не скрывал, что терпеть не мог тоталитарного строя. Ни в каких проявлениях и обличьях. То была в его глазах противоестественная система.

А как же с его принадлежностью к подполью Компартии Западной Беларуси?^[38] Это очень непростой вопрос. Подобно многим белорусам и многим евреям, Алексей примкнул к подполью, когда была запрещена

стотысячная Громада^[39], когда на польских «кресах» резко сузились возможности легальной оппозиции реакционному, а отчасти профашистскому курсу правительства. Показателем перехода к этому курсу было и создание в 1934 г. возле Березы Картузской, — впервые в Польше, — концентрационного лагеря^[40], комендант которого обучен был в нацистской Германии. Я знал многих, кто там сидели, и изучил весь архив концлагеря, через который власти «прогоняли» актив левых партий и профсоюзов. Тогда нарастало ощущение, что страну зажимают в «клещи» между нацизмом и большевизмом, и все труднее было понять, где выход. Это одно, но важно и другое — какой была в действительности атмосфера того подполья.

Конечно, из СССР вместе с деньгами и инструкторами поступали в КПЗБ и обязательные идеологические догмы. Но они вряд ли уничтожили там полностью вольномыслие. С конца 1950-х, когда приоткрылись засекреченные архивы, через мои руки как исследователя прошли тысячи судебно-следственных дел польских властей против сторонников КПЗБ. В их числе и дела Карпюков, — отца^[41] и сына, Алексея, который мог тогда и не дожидаться своего пропуска в литературу. Как мог не стать народным поэтом Евгений Скурко, осужденный в Вильно в начале 1930-х к тюремному заключению по приговору, копию которого я ему передал в Минске тридцать лет спустя. А он, Максим Танк, потом подарил мне сборник своих стихов «Грайсці праз вернасць». Книга сейчас стоит у меня в США на полке, и в ней я читаю: «Пайсці мо ў краму і цвікі купіць, пілу з сякерай, ды перарабіць жыццё, каб зноў было магчыма жыць...»

А когда реабилитировать пожелали сталинизм, напоминаний о его преступлениях и жертвах рекомендовали не делать. О многом сокрытом от непосвященных я узнавал при встречах в Минске с Николаем Семеновичем Орехво^[42], человеком необычайных способностей и трагических предчувствий, которые он имел и в отношении меня, когда я работал над кандидатской диссертацией. Во многом благодаря ему я смог разобраться в лабиринте подпольных входов и выходов, где неосторожных подстерегала дефензива, а с ней соревновалась агентура НКВД.

Как на первом этапе исследования, так и на втором, подготавливая докторскую диссертацию, я стремился к главному: увидеть в истинном свете и понять реальных людей, поставленных перед выбором: свобода или тюрьма, а порою и хуже того, — жизнь или смерть. Я подсчитал, что в межвоенном периоде в Западной Белоруссии по политическим мотивам было арестовано более 30 тысяч. Составленная мною уникальная картотека была основана на материалах 456 политических процессов, включая многотомные дела Белорусской Громады, Змагання^[43], ТБНЦ^[44]. Возникал как бы социальный портрет политически активной части населения. Около 75 процентов обвиняемых составляли белорусы, примерно 20 процентов были евреями. Иногда попадались поляки, литовцы. Надо сказать, что судили не за идеологию «коммуны», а за принадлежность к организациям, считавшимся «подрывными», поскольку они добивались воссоединения Западной

Белоруссии с БССР. Это все тоже наша история, которую никуда не денешь. Хорошо, что уходим от прежних критериев и оценок, но событий никому не дано изменить.

Считаю, что хоть отчасти выполнил свой моральный долг перед многими, обманутыми в лучших побуждениях, подставленными под удары и «чужих», и «своих». Я различал имена, но видел за архивными документами целые поколения, поднимавшиеся на этой прекрасной земле к достойной жизни. Вместо нее они обречены были провалиться в небытие. Насколько мог, я стремился показать прошлое, каким его видели уцелевшие, вышедшие из подполья, из тех или других тюрем. Мне удалось подготовить к печати сборник их воспоминаний. Вряд ли это получится еще раз, ведь почти никого из них уже нет на свете. Я познакомился в Слониме с одним из героев политических баталлий конца 1920-х Павлом Крыньчиком[45], о судьбе которого знал по материалам дефензивы и судов. Последний оставшийся живым белорусский депутат сейма, он был настолько истощен физически и морально придавлен, что, по моему впечатлению, немного тронулся. Ни о чем толком не вспоминал, только невнятно бормотал: беда, мол, откуда столько шпионов? А те из бывших подпольщиков, кто не были посажены ни «первыми», ни «вторыми» Советами, кого и немецкие метлы не замели, даже напоминать о себе побаивались.

И вот с этой, близкой ему, но весьма подозрительной для власти средой Карпюк не только не порвал, но он даже с ней породнился. Его женой стала Инга Ольшевская, дочь одного из лидеров КПЗБ и Фейги Цигельницкой, видной подпольщицы еще реабилитированной тогда партии. [46]

Не замечал, чтобы Алексея «груз прошлого» как-то тяготил или удерживал от «резких движений». Он вел себя по-хозяйски, а если кого критиковал, то не взирая на лица и чины. Шумную известность, даже за пределами СССР принесла Каршоку его обличительная речь на съезде белорусских писателей 1966 г. Этой речи ему не простили никогда, ее поставили в один ряд с «подрывной пропагандой» пражских интеллектуалов. Но нападки только подстегивали его, усиливали энергию творчества.

[...]

Мы сблизились, продолжая оставаться разными, и каждый вел свой образ жизни. Ничего нет обидного, если Быкова »уподоблю трудолюбивому кроту. Он не просто уходил, а исчезал, чтобы на много часов или даже дней осесть в своем домашнем укрытии, — какое тогда имел. Лишь бы было тихо, лишь бы никто не мешал сочинять. Не припомню, чтобы он показал свои черновики, вообще рукописи.

Карпюк предпочитал заниматься в Доме Элизы Ожешко, где отвели комнату для Гродненского отделения Союза писателей. Тут он печатал на машинке, раскладывая готовые страницы на столах. Отсюда мы отправлялись в «походы» по городским улицам. Алексей знал каждый закоулок. Таким его запомнили и полюбили многие: добрым странником, как будто подводившим итоги каждого дня.

А меня тянуло в окрестности. Я жил с ощущением, что чем больше вижу, тем меньше понимаю, что происходит вокруг. Конечно, я с волнением следил, как поднимается волнами, прибывает на смену уходящим новая, молодая жизнь. Я радовался осязаемому прогрессу, — кстати, неизбежному при каждом строе, желающем уцелеть.

Но ужасала психология советской элиты. Она вела себя так, как будто с нее началась история края. Она считала, что ничего не обязана восстанавливать и беречь, и избавлялась от наследия, как от брошенного, ненужного «чужого добра». [...]

Не было мира ни хижинам, ни дворцам. В начале шестидесятых не довелось нам с Каршоком отстоять бесценный заповедник, — часть улицы Ожешко, застроенную домами ремесленников, мастеров XVIII века. Тщетно мы протестовали, просили. Председатель Гродненского горисполкома Охрименко ответил командой: «Ускорить снос!» Один домик, правда, временно оставили. Он и пережил самого Охрименко, который так запутался в каких-то махинациях, что застрелился. [...]

После попытки исключить Карпюка из партии (редакционный коллектив «Гродненской правды» не проголосовал за эту меру), его сняли с должности секретаря областного отделения Союза писателей. Положение Алексея ухудшилось настолько, что ему буквально не на что было жить. Мы с Быковым его поддерживали, как могли.

23 октября 1970 г. я обратился с письмом в его защиту к Союзу писателей Беларуси, на имя М. Танка, В письме было сказано, что Алексей Карпюк уже много месяцев бедствует, почти без средств к существованию, а ведь он — глава семьи, с тремя детьми и больной женой. Подходящей работы ему не дают. «Обстановка вынуждает, — говорилось далее, — покинуть Гродненщину, к которой он прирос корнями и вдали от которой вряд ли сможет сохранить творческую активность».

В моем архиве сохранился ответ, написанный собственноручно М. Танком 30 октября того же года. «Паважаны Барыс Самуілавіч! — пісал Евгений Иванович. — Я доўгі час быў у камандзіроўцы і таму не змог прасачыць, як абстаіць справа з Карпюком. Перад гэтым Мікуловіч⁴⁷ (тогда первый секретарь Гродненского обкома партии. — Б. К.) запэўніў мяне, што Абком падшукае для яго работу... Хаця зазначыў, што каля дваццаці пасада прапанавалі Карпюку, і ён ад іх адмовіўся... Па лініі Саюза пісьменнікаў усе сродкі дапамогі матэрыяльнай мы выкарысталі... Насчет «20 пасадаў», якoby подобранных в Гродно для Карпюка — выдумка, ничего подходящего они для него не искали, не к тому шло дело.

По телефону нам делались анонимные предупреждения: «уничтожайте самиздат!» На всякий случай Карпюк «утопил» некоторые рукописи, а я избавился от статей из чехословацкой прессы. Быков же мрачно шутил: «Не беспокойтесь понапрасну, если они придут, то все принесут с собой».

6 мая 1971 г. Бюро Гродненского горкома, как говорится, «поставило на мне крест». Обвинения предъявлены были мне достаточно тяжкие, как

следует из постановления Бюро: «Он (Клейн) подчеркивал необходимость борьбы против «сталинистов», против правящей группировки, которая как будто стремится вернуть старые сталинские методы, утверждал, что якобы в партии образовались два крыла: «сталинистов-догматиков» и демократическое крыло творческой интеллигенции».

Действительно, с последним и отождествляли себя мы с Карпюком, то есть поступали так, как будто уже выделилось социал-демократическое течение, и нам дозволено было безнаказанно к нему принадлежать. Нечто подобное происходило тогда в Польше и Чехословакии, где оппозиционные силы прирастали «снизу», спонтанно увеличиваясь за счет примыкавших к ним групп. Но это не у нас.

Так думали мы с Карпюком, но Быков, надо заметить, не верил ни в какие «крылья» партии, говорил, что все одним миром мазаны, а если можно иметь дело, то лишь с отдельными людьми.

Как я уже писал, Карпюку задолго до этого ставили в вину аполитичные выступления, и не только перед писателями Быков же навлек на себя ожесточенные и не утихавшие кампании травли в печати за «очернение» в своих книгах и журнальных публикациях армии, да и всей советской действительности. Так что для подведения нас всех под общую формулу обвинения материала было достаточно. Не составляло тайны, что за нами ведется интенсивное подслушивание, а некоторых стукачей мы знали в лицо.

Ни в одном обвинительном документе в свой адрес я не встретил ссылки на уличающие меня, хотя бы косвенные свидетельства Быкова или Карпюка. Людей без слабостей не бывает, и мы не исключение. Но вот друзей не предавали, от этого себя уберегли. Или Бог не допустил этого.

Позже оба, Василь и Алексей, написали в воспоминаниях, что мы искали общую линию поведения и пытались построить какую-то самозащиту. Верно, мы пытались, только возможностей отпора у нас почти не было.

Хуже того,— помнится, осенью 1971 г. Василь, до этого часто навещавший меня дома, поделился невеселой новостью: из КГБ ему конфиденциально посоветовали не поддерживать контакта с Клейном. Иначе, мол, того, совместно с Карпюком, подведут под статью о групповой антисоветчине. А наказание за это положено более суровое. Я ответил, что понимаю его положение: ничего иного и не остается. Мы простились с тяжелым чувством и разошлись в разные стороны. С этого момента наши встречи стали как бы случайными, разговаривать на людях мы избегали. Только и выпадало мне, что отвести душу с Алексеем, пока его самого не приперли к стене.

После увольнения с преподавательской работы я долго ходил без места. Потом меня «направили» на городскую овощную базу, предупредив, что никуда больше в городе не возьмут. Редакциям как будто не отдавали формального приказа меня не печатать — они сами знали, как поступать в этих ситуациях. Случайно я узнал, как в журнале «Полымя» обсуждали участь одной моей небольшой статьи. Сотрудники редакции приготовились

было изъять ее из набора. Дело дошло до Максима Танка, и тот, якобы, с сарказмом отозвался: «Ен жа яшчэ не арыштаваны, а вы ўжо ... у штаны». Материал опубликовали, — хоть какая-то радость, но было видно, что ничего к лучшему не изменилось, скорее, наоборот.

Мы с Алексеем рассуждали примерно так. Исключать или не исключать кого-то из партии или из другой организации — это их дело. А вот лишение ученой степени и звания за неудобные кому-то взгляды — это вообще выходит за рамки цивилизованности. В каком-то смысле это даже подлее, чем бросить в концлагерь, потому что ученому как бы оставляют свободу, только духовно кастрируют. И я сказал, что на рожон не полезу, но никогда в своей жизни не смирюсь с таким наглым варварством. Для меня теперь главное — заставить их вернуть отобранное.

Так оно и вышло, им пришлось вернуть мне все: через восемь лет. [...]

Помимо материальных лишений и моральной угнетенности, положение отщепенца усугубляется болью от резко изменившегося отношения окружающих. Пройтись по улице я еще мог с Карпюком, которого не страшили последствия.

— Зачем вы вмешиваетесь? — спросил я у секретаря Гродненского обкома КПСС Григория Фомичева, — ведь я не лишен свободы, даже не давал подписки о невыезде. А поскольку все у меня уже отняли, значит, я вам здесь больше не нужен.

— Нет, вы нужны, — возразил тот, и я навсегда запомнил его слова. — Вы будете маячить на гродненских улицах, как тень. Чтобы все видели, какая судьба ожидает того, кто пойдет против нас.

А время работало против нас. Снова взялись за Алексея, — «план мероприятий» осуществлялся поэтапно. В июне 1972 г. Карпюк был решением бюро Гродненского горкома тоже исключен из партии, — но что примечательно, по обвинениям, совершенно не совпадавшим с предъявленными мне и непохожим на те, которыми шельмовали Быкова в печати. Против Карпюка же создали целое дело, распухшее от бумаг, якобы доказывавших, что в годы войны он не руководил партизанским отрядом, а его завербовали немцы, и он по их заданиям шпионил, внедрил в советскую разведгруппу агента гестапо и т. п.

Когда мы узнали про эти обвинения, то, как верно пишет Василь, версию о предательстве нашего друга не приняли. Сомнительными выглядели улики против него, и понятно было, что многое он без особого труда опровергнет. Кроме одного. Ему предъявили фотокопию страницы из немецкой финансовой ведомости концлагеря Штутгоф. И выходило по ней, что заключенный А. Карпюк трижды получал в лагере по 20 немецких марок, и каждый раз ставил в ведомости свою подпись. Алексей не оспаривал, подпись, похоже, была его, но только он не мог объяснить, откуда она там взялась. Этим то дело и осложнилось.

Когда Быков попытался замолвить слово в его защиту Кузьмину, то секретарь ЦК ответил: «Главное, там роспись за марки. А уж немцы зря денег не платили».

Я знал основных действующих лиц этой постановки, приближавшейся как будто к своему финалу. И прокурора Гродненской области Волоха, порядочного человека, который, изучив поступившие на Карпюка материалы, увидел, что тому грозит не менее 15 лет тюрьмы, и, по слухам, выразил обкому партии сомнение в обоснованности некоторых улик. И первого секретаря обкома Микуловича, причинившего нам столько зла, сколько обязан был и мог по своей должности, но будто бы распорядившегося отправить дело Карпюка на «доследование». По крайней мере, в этом он много позднее уверял людей «за чаркой», хотя Василь отнесся к его признаниям скептически.

Знал я и польского журналиста Олека Омильяновича[48], относительно которого мы по телефону получали анонимные предупреждения, что этот человек «подослан» спецслужбой, только не уточняли, какой: нашей или польской. Но именно он проник в Польшу в архив бывшего концлагеря Штутгоф, и там нашел подлинник той злосчастной немецкой ведомости, — оказывается, реестра денежных переводов заключенным от их родственников. Эту-то специфику документа намеренно утаил дознаватель, изготовивший фотокопию без заголовка, чтобы создать видимость, будто немцы платили Карпюку за тайное пособничество.

Но на эти розыски уходило много времени, а Карпюка в любой день могли забрать. Был момент, когда Быков поверил, что Алексея наверняка посадят. И, по словам последнего, вывел такой итог: «Сидел ты в польской тюрьме, в немецкой, теперь упекут тебя в нашу. Обложили тебя со всех сторон». Даже договаривался Василь с московскими друзьями-писателями, чтобы спрятать Карпюка на время в психбольницу и хотя бы таким способом, через знакомых врачей, раздобыть ему «охранную грамоту». На это, правда, Каршок не пошел, хотя, по его же воспоминаниям, был близок к самоубийству. Это довольно необычный вариант «игры с психушкой», потому что на практике опасность оказаться там исходила от властей, и мне самому доводилось взвешивать такую вероятность.

Знали высокие начальники, что затея с немецкой ведомостью подстроена, или не знали — или, хотя и знали, но делали вид, что Карпюк виновен полностью, — до сих пор неясно. Так или иначе, подана была установка на полную дезинформацию общественного мнения. Без публикаций в печати, силами спецдокладчиков, лекторов и агитаторов населению давали понять, что замаскированная шайка раскрыта, а ее преступная деятельность пресечена. В передаче тех, кто лично слышали официальные разъяснения, суть дела преподносилась так. Изменник Родины Карпюк и сионист Клейн сумели обработать примкнувшего к ним Быкова, использовали его известность, чтобы очернять нашу армию и советскую действительность. Им платили за это деньгами ЦРУ (иногда фигурировали

иные, экзотические источники финансирования группы, например, тайно «раскопанное» Клейном золото его отца). Так что юмор в этом деле тоже присутствовал. Но не преобладал.

Не вижу нужды доказывать, что именно Быков являлся лидером нашей группы. А те, кто игнорировали этот факт, притворялись. На деле они знали, кто есть кто. Не то лишь значимо, что ему поступала из Москвы почти вся литература «самиздата», которую затем распределял Карпюк, а собрав ее у пользователей, возвращал рукописи Василию. Иногда, правда, Алексей и сам кое-что добывал из Польши. Главное, почему мы убереглись от распада. Мы ощущали авторитет Быкова как писателя и испытывали влияние его мощной, доминирующей над обстоятельствами натуры. И не нужно забывать о главных его качествах, подменяя их правильным, но в сущности вторичным перечислением его добродетелей: терпимости, такта, уважения к чужому мнению и проч.

В апреле 1973 дело Карпюка рассматривалось на Бюро ЦК КПБ, и там долгое обсуждение завершилось не совсем банальным голосованием: двое были за исключение[49], двое — против (Кузьмин и Аксенов), а П.М. Машеров воздержался, вследствие чего решение и состоялось в пользу Карпюка (ограничились строгим выговором). Не составляет труда увидеть логику противоборства и оценить значение его исхода. Ведь при тех условиях оставить в партии значило и сохранить человеку свободу. Ибо не мог же коммунист одновременно числиться и в «гитлеровских прислужниках». Но если так поступили с одним из нас, то, выходит, в положении других тоже не предвиделось ухудшения.

За неимением достоверных сведений, не берусь судить, как и почему там, наверху подыскали адекватную форму разрешения весьма щекотливого дела. С таким расчетом, чтобы не угробить Карпюка, но вместе с тем, и не создать представления, что он получил «отпущение грехов». Конечно, не получил, — но все же ему дали передышку. Или он ее себе взял. Но не затем, чтобы «перестроиться» и порвать с прежним. Он был человеком упорным и верил, что еще дождется своего времени.

Мы все не теряли этой надежды.

А затем состоялась чреватая последствиями встреча с Карпюком. Он по обыкновению пригласил меня погулять. А убедившись, что поблизости нет любопытных, передал вкратце то, что узнал от своего знакомого, работника обкома партии. Оказывается, вскоре после совещания, на котором я рассказал о своем опыте, некто хорошо осведомленный через голову Клецкова дал из Гродно тревожный сигнал, причем не Машерову даже, а прямо в Москву, в отдел пропаганды ЦК КПСС.

Что скрывать, мы с Карпюком приняли перестройку хорошо и даже пытались соучаствовать в ней. Да и Быкову, перебравшемуся в Минск, вроде бы нравились некоторые горбачевские инициативы. Вдруг что-нибудь из них получится, — чем черт не шутит?

И черт пошутил.

Если память не изменяет, в 1987 г. нам с Алексеем пришло в голову нанести официальный визит недавно поставленному во главе Гродненского горкома партии секретарю-«перестройщику» Алешину (где его подобрали на эту роль, не знаю). Словно и не было прежде грозных вызовов в это самое учреждение, многочасовых кабинетных дознаний, беспощадных «оргвыводов»... Великое дело: вера. Или, скорее, доверчивость.

Приняли нас радушно: не как злодеев, «отмотавших» свои сроки, а как равноправных партнеров по общему делу. Будем, — говорил Алешин, — вместе вытаскивать страну из застойного болота. Такая увертюра обнадеживала, и мы достали свои бумажки. Алексей немало потрудился над писательскими предложениями. Мне же, теперь доценту университета, выпала честь говорить как бы от имени ученых. Итак, одни излагали, другие записывали.

Карпюк начал дипломатично: бесспорно, в системе народного образования наломано немало дров, но есть и успехи. Только положение с белорусским языком дальше терпеть невозможно. Приезжие люди вообще не разбираются, какая это республика. Если белорусская, то почему почти нет школ на родном языке, надписей, документов, как будто его запретили. Кому этот язык мешает жить?

Встреча имела продолжение. Атмосфера вроде не ухудшилась, но настораживало, что хозяева только и делали, что записывали за нами. Своего мнения не высказывали. Карпюк, улучив момент, шепнул мне: «Понесут все наверх».

Как бы для разрядки, я попросил объяснить один парадокс в общественном питании. На Советской улице была неплохая государственная столовая. Ее преобразовали в кооперативную, после чего обслуживание не стало лучше, зато цены подскочили в несколько раз. У людей возникает вопрос: есть ли смысл плодить кооперативы, которые не расширяют, а сужают и удорожают услуги? Кому это нужно, и к чему приведет?

Но церемонность наскучила Карпюку, и он обострил ситуацию.

Зачем, спросил Алексей, у вас на стене в Горкоме висит все тот же иконостас с портретами старых коммунистов? Эти ветераны сталинщины выедали нам печенки на парткомиссиях. Пора уже снять их и повесить что-нибудь другое, тогда поверят, что и у вас пошла перестройка.

На этом терпение начальства лопнуло. Поднявшийся из-за стола Алешин дал понять, что все ясно.

Недели через две я позвонил, чтобы узнать, какой все-таки итог. Некий инструктор объяснил, что изучать общественное мнение в горкоме намерены, но заниматься этим будут люди под руководством секретаря по идеологии. Они проконсультируются у меня, — в случае надобности.

Портреты заслуженных членов парткомиссий остались висеть на прежних местах. Для Алексея это был урок: перестройку всерьез не берут. Все делается с расчетом па проволочки. Только проболтают, ничего не меняя, пока в Кремле не угомонятся и не дадут команды: пошли назад. Этот

довод звучал убедительно. Провал антиалкогольной кампании говорил за себя, ее просто высмеяли.

Мне не хотелось бы создавать впечатление, что мы там, в гродненской провинции, были пронизательнее других. Нам тоже не удавалось понять, что же происходит. А будущее Беларуси окутано было более плотным туманом, местами и ядовитым.

К тому же группа наша с отъездом Быкова была уже не той. Но и тут все не просто. Василь живет в Минске, занят своими разнообразными делами, — но в какой-то момент, когда требуется его соучастие, защита от напасти, он с нами. Звонит, передает что-нибудь через людей, поддерживает через печать... Тому подтверждение — статья на целую полосу в «Литературной газете» по поводу новых гонений на Карпюка, начатых в 1989 г. На этот раз он вызвал их своими правдивыми воспоминаниям о коллективизации в Западной Беларуси. В ответ минский журнал «Политический собеседник» вытацил и пустил против Алексея те самые, давние обвинения.

«Создается вполне обоснованное впечатление, — говорилось в статье Быкова, — что собранный когда-то «компромат» вне зависимости от его достоверности тщательно приберегается «про запас», чтобы в нужный момент запустить его в дело. Как это явствует из истории с Карпюком, момент этот определяется не КГБ и не правоохранительными органами... Горком, обком, ЦК партии включают условный сигнал расправы, который тут же принимается к исполнению карательными органами».

В статье подробно рассказывалось о деле, созданном против нашей группы в начале семидесятых, когда молчал «задавленный страхом город», и неоткуда было ждать защиты ни Карпюку, ни Клейну. Может, и не стоило бы ворошить малорадостное прошлое. Но под бурные дебаты о перестройке и плюрализме мнений, не утихающие в столицах, провинция продолжает жить однажды и давно заведенным образом. Все это, предупреждал автор, чревато многими последствиями даже для нашего перестроечного времени. Пророческие слова.

«Конечно, — писал Быков в заключительной части своей статьи, — мы слышим с детства, что сила добра одолевает злобные силы и правда в конце концов торжествует. К сожалению, человеческая жизнь не беспредельна, и как быть, если самая большая ее часть, самая активная и трудоспособная часть отравлена злом и несправедливостью? В апреле Алексею Никифоровичу Карпюку исполняется семьдесят лет...»

У Алексея была природная особенность: он, если так можно определить, любил национальность в человеке. Естественно, всех ближе, роднес для него был настоящий, «шчыры» белорус. Но он, как я не раз видел, радовался, если мог сказать о собеседнике: «Oto prawdziwy Polak» («Вот настоящий поляк»). Беседу с интеллигентным евреем он ценил, но, говоря откровенно, больше его привлекала какая-нибудь местечковая личность: с характерной еврейской внешностью, с явным акцентом. Карпюку отвечали взаимной симпатией: с ним не нужно было притворяться.

Отсюда и его мечта, чтобы люди не стеснялись говорить на своих языках. Он не верил, что это поведет к разобщенности, — напротив, считал он, чем больше свободы слова, тем меньше причин для конфликтов. В общем, не зная этого термина, он придерживался американской концепции «diversity» («разнообразия»). Но здесь, в США, столько перекосов в этой сфере, что былой увлеченности идеей не ощущается.

По поводу очередных выборов, не помню, в какой орган, у нас с Алексеем зашла речь, что вроде бы в стране стало посвободнее, чем прежде. А наши люди сторонятся политики, по усвоенному с незапамятных времен, горькому опыту: свяжешься — не расплатишься. Мода на партии сюда еще не дошла, но, размышлял Карпюк, может пора создавать национальные объединения, их как будто терпят. Зачем? А затем, что когда-то надо же возвращаться в цивилизованную жизнь. Тут было много организаций, групп, различных движений, их запретили, разогнали, — от этого стало лучше? Попробуем начать с поляков.

Как историк, я отчетливо представлял себе глубину польской национальной традиции. Ведь больше ста пятидесяти лет они держались без собственного государства, под чужеземным гнетом, на этих своих чувствах, религии. Но то в Польше, а какая здесь обстановка? Католичество под подозрением. Старой польской интеллигенции нет, а новая еще формируется. Не забыты и сталинские депортации.

— Польша своим поможет, — говорил Карпюк, — само собой. А если у них выйдет, то и для белорусов будет лучше. Им нужен пример, чтобы зашевелиться.

Надеюсь, меня поймут правильно. Я не ручаюсь за точность каждого слова, однако смысл той нашей беседы и последующих на эту тему был именно таков. Что же до попыток представить дело иначе, то они были, и возможно, еще будут, но от этого реальность не станет иной. А она ведь не сводилась к планам. Совершались действия, которые имели последствия.

29 апреля 1987 г. Карпюк направил письмо М. С. Горбачеву, тогда генсеку КПСС, о дискриминации поляков в Беларуси (его фрагменты привожу в обратном переводе с имеющегося у меня польского текста). Мой друг писал: «Жизнь так меня сформировала, что поляки не имеют от меня секретов, что часто наши сердца бьются в унисон». В Беларуси, — напоминал он, — живет свыше 400 тысяч поляков. Они не имеют ничего из тех возможностей, которые предоставлены 180 тысячам белорусов в Польше: национальные школы, лицеи, кафедра в университете, издательства, газеты, фольклорные коллективы и т. п. Запрещена даже польская вывеска (есть лишь на белорусском и русском языках) на Доме-музее Элизы Ожешко в центре Гродно. ... Вообще эту тему у нас до сих пор считают «табу». То, что наши власти не замечают значительного числа поляков в БССР, упорный отказ от разрешения их национальных проблем — в наше время непростительно... Свое обращение я не адресую нашему руководству только потому, что мы, как бы там ни было, в провинции, а результаты перестройки,

происходящей в стране, тут ощущаются еще слабо. По крайней мере, в духовной области. У меня такое впечатление, что у наших отдельных влиятельных особ еще доминирует принцип — держать, не пускать, не разрешать, подозревать и ничего не менять».

По истечении некоторого срока ему позвонил работник Гродненского обкома партии и сообщил, что проблему, поднятую им в письме М. Горбачеву, тщательно изучили в обкоме. Ее не существует, поскольку наши поляки никуда не обращались с просьбами обучать их детей на польском языке.

Этот ответ Алексей процитировал во втором письме М. Горбачеву, присовокупив такие комментарии. Корабль «Адмирал Нахимов» затонул не только из-за халатности капитанов, которых теперь судят. Он пошел ко дну также вследствие того, что полностью устарел и прогнил. Но на суде представители «Морского регистра СССР» оправдывались ссылкой: «Мы не имеем с этим ничего общего, ведь команда корабля не предъявляла никаких жалоб».

Затем автор письма генсеку пересказал анекдот, популярный в межвоенной Польше. Нерадивая служанка готовилась купать панских детей, но измеряла температуру воды не с помощью термометра, а следующим способом: просто ставила ребенка в ванну. Если он визжал, это означало, что вода слишком горячая. Тогда служанка доливала воды похолодней.

Письмо Карпюка, хотя и выглядело местами забавным, имело серьезный смысл и подтекст. Оно предупреждало Кремль, что нельзя доводить дело до появления новой «горячей точки» на карте все новых этнических конфликтов, а Беларусь, где национальной розни пока нет, необходимо оберегать от нее. Но нетрудно было догадаться, что второе обращение, скорее всего, постигнет участь первого. Поэтому я не удивился, когда Алексей, с присущей ему категоричностью, отдал неожиданное распоряжение:

Собирайся, едем в Сапоцкино.

Поездка намечалась в близлежащий районный центр, где компактно проживали поляки. Дорога заняла минут сорок, на окраине местечка друг попросил меня остановить машину и определил диспозицию:

Значит, так. Ты, как еврей, в дом ксендза ходить не должен — оставайся здесь. А я, как белорусский писатель, могу встречаться с каждым.

Вернувшись часа через два, Алексей поведал, что договоренность с ксендзом достигнута. Тот обойдет верующих и даст им понять, что бояться не нужно. Пусть посылают в Гродно и в Минск письма с просьбами открыть обучение детей на польском языке.

Аналогичные письма поступили «наверх» и из ряда других районов. Это обнадежило группу активистов польского просвещения, принявших свои меры. В 1988 г. возникло Культурно-просветительное общество имени А. Мицкевича, на основе которого в 1990 г. был создан Союз поляков Беларуси.

В Гродно до этого, с 1986 г. существовал культурно-исторический клуб «Паходня», ставший трибуной главным образом белорусской интеллигенции. Начал этот клуб с небольшого ядра, а приток членов его совпал с ростом польского объединения, и постепенно к ним присоединялась масса сторонников. Не припомню, чтобы между «Паходней» и Союзом поляков были какие-нибудь трения, тогда казалось, что места хватит всем, а дело общее. Не знаю, как это выглядит сейчас. Мы с Алексеем помогали тем и другим.

Ключевую роль сыграл Карпюк и в образовании в 1988 году Гродненского еврейского культурно-просветительного общества. Он был почетным гостем на организационном собрании этого Общества, членов которого ему пришлось немало уговаривать: соберитесь вместе, вас никто не обидит. Ему-то люди поверили. Но исподволь многие тогда готовились к эмиграции: не видели впереди просвета и сомневались в будущем для своих детей, когда все ближе подступал общественный развал.

[...]

28 февраля 1989 г. в Народный суд Ленинского района г. Гродно было подано коллективное заявление с просьбой привлечь к уголовной ответственности за клевету гр-на Мендарева П. А. Парадокс в том, что Петр Андреевич еще недавно был первым секретарем Гродненского горкома партии.

Поводом к судебному разбирательству стала полученная мной информация. Вот ее текст, сохранившийся у меня: «16 февраля 1989 г. в Доме Политпросвещения на курсах повышения квалификации партийных, советских и идеологических работников Гродненского обкома КПБ выступил с лекцией «Партийная принципиальность, критика и самокритика, чувство ответственности» председатель комиссии партийного контроля при обкоме КПБ П. А. Мендарев. На втором часу лекции он заявил, что в руководстве культурно-исторического клуба «Паходня» имеются изменники Родины. Последовал вопрос лектору (П. А. Мендареву) от слушателя курсов Н. Н. Маркевича^[50]: «Назовите конкретно, кого Вы имеете в виду»? П. А. Мендарев назвал фамилию: «Вот, пожалуйста Вам, Карпюк». А дальше были названы фамилии Б. С. Клейна и М. А. Ткачева^[51].

Таков был документ, переданный нам и удостоверенный подписями пятерых слушателей тех самых курсов. Судьбы поставивших свои подписи молодых людей мне теперь неизвестны, — кроме одной. Ее знают и за пределами Беларуси — судьба Николая Маркевича.

Возвращаясь к событиям 1989 года, я должен сказать, что наше обращение к правосудию не было продиктовано мелочной обидчивостью. Мало ли что говорят за спиной? Но тут другое: нас открыто подвели под тюрьму. Отсюда и решимость не прощать обиды, общая для Карпюка, Ткачева и меня.

Заявление в суд было нами написано по всей форме: «Гр-н Мендарев вкладывал в свои высказывания политическое содержание, стремясь

опорочить наше гражданское достоинство... Не остается сомнений, что Мендарев публично оклеветал нас». Со ссылкой на статью Уголовного кодекса БССР, мы просили привлечь его к уголовной ответственности.

16 марта 1989 г. судья Ленинского района города Гродно Л. К. Карих вынесла «определение», копии которого были вручены каждому из нас троих. В судебном документе говорилось, что в данном случае надлежит применить не часть 1, а часть 111 статьи 128 кодекса, поскольку гр-н Мендарев не просто оклеветал заявителей, он обвинил их в совершении особо опасного государственного преступления (измена Родине). А по делам о такого рода клевете должно обязательно производиться расследование прокуратуры. Посему, руководствуясь статьей такой-то, судья направила дело в прокуратуру Ленинского района. Вместо нее отозвалась областная прокуратура, куда мы, — Карпюк, я и Ткачев, — были вызваны на собеседование. Проводил его, — не знаю, где он теперь, — зам. прокурора Гродненской области А. И. Абрамович. Рассуждения его клонились к тому, что наши обвинения голословны.

— А как насчет письменного подтверждения пяти журналистов? — возражал Карпюк. — Разве этого недостаточно для возбуждения дела?

Прокурор парировал:

Допустим, за вас выступают те газетчики. А другая сторона выставит вдвое больше: десять секретарей парторганизаций уже поручились за Мендарева, что он ничего подобного не говорил. Кому верить?

Тому кто свой, — сказал Алексей.

Я попросил хозяина кабинета:

Вы все-таки дайте письменный ответ.

И он дал, но почему-то мне одному, как будто догадываясь, что у меня бумага не пропадет. Мне кажется нелишним процитировать резюме из нее: «Ввиду того, что Мендаревым П. А. не было распространено в отношении Вас заведомо ложных измышлений, соединенных с обвинением в совершении особо опасных государственных преступлений, оснований к привлечению его к уголовной ответственности не имеется».

Ткачев высказал мнение, что мы не имеем права промолчать, — хотя бы из уважения к тем ребятам, которые инициировали дело против клеветника. Они пошли на риск.

Московская «Неделя» опубликовала мою статью «Группа», перепечатанную затем в Минске газетой «Знамя юности». В этой статье я рассказал и о «предыстории», — событиях конца шестидесятых, с последующим продолжением, — и о новых нападках республиканской печати на Быкова и Карпюка, об угрожающих попытках состряпать в Гродно уголовное дело против творческой интеллигенции, при полной беспринципности правосудия. Там у них, выходит, нет разницы во времени. «Вот о чем стоит подумать тем, кто «устал» от уроков прошлого».

Мы и сами ощущали усталость. Сколько можно было жить, таясь по углам, остерегаясь доносчиков, подвергаясь нападкам касты, цеплявшейся за

власть и привилегии, и всех тех, кто делали ставку на ее монополию? У нас, наконец, появилась возможность протестовать в печати. Не считаю нужным следовать примеру тех, кто благодарит за эту возможность кого-то. Стоит ли бить поклоны? Мы получили жалкие крохи того, что причиталось народам, «умытым кровью»

Парадокс и трагизм истории в том, что независимость раздали, как векселя после полного банкротства, не обеспеченные ничем. Провозгласили то, за что еще требовалось бороться годами, и даже отдавать жизни, а иначе вообще не устоит независимое государство белорусов и тех, кто вместе с ними.

Может ли быть большая радость для некогда «запрещенного человека», чем хоть раз увидеть осуществление, — пусть отчасти, своих заветных замыслов? Мне дано было дожидаться такого момента, — счастливого мгновения, сказал бы старинный поэт.

...Незабываемая ночь над Свитязью, для белорусов священный праздник Ивана Купалы, а для поляков таинственная Noc Swetcojanska, когда молодые поют в лесах и во тьме зажигаются костры, когда плывут по озерной воде венки, испытывая будущее. В эту ночь 1992 года я сторонился увеселений. Там был со мной друг, белорусский писатель В.Никифорович, он знал, в чем дело, и ему нечего было сказать в утешение.

Что говорить, когда умирал от рака Карпюк. Он был уже так плох, что не смог бы добраться сюда. Не довелось посидеть напоследок над прозрачной водой, вспомнить все хорошее, прислушаться к голосам из другой жизни.

Близился конец нашей группы. Когда-нибудь он должен был наступить.

...Эту публикацию я откладывал, как говорится, до лучших времен. Но они не наступили, а между тем мне самому осталось уже немного. Из нашей «гродненской троицы» первым ушел Алексей Карпюк, затем не стало Василя Быкова, а теперь в живых один я.

Тем не менее не кто иной, как Быков, объединил нас с Алексеем Карпюком, создав в Гродно некое ядро клуба свободомыслящих интеллектуалов. У этого клуба появились сторонники. В течение нескольких лет нами в разных формах велась и косвенная, и прямая критика политического курса КПСС, который, по нашему мнению, предвещал близкую общенародную катастрофу. Это побудило председателя КГБ Ю.Андропова направить письмо в Политбюро, и последовали репрессии: на нас с Быковым было совершено нападение на гродненской улице, Карпюка готовились судить, а меня лишили ученой степени и звания (восстановлен был в правах ученого через восемь лет).

Александр Федута — можно сказать, инициатор моей работы над мемуарами. издатель их в Минске — в статье, опубликованной в газете

«Народная воля» 2 ноября 2018 года, как бы подходит к главному в моей жизни:

«Научная судьба Бориса Самуиловича была нелегкой. Он не скрывал своих оценок происходящего – как и его друзья Василь Быков и Алексей Карпюк. Три угла «Гродненского треугольника»... Все трое выполнили свой долг – человеческий, дружеский, авторский. Долг перед друзьями – и перед Историей.

Будь я кинорежиссером, снял бы фильм по трем мемуарным книгам. Рассказал бы историю трех друзей, которые дождались крушения империи... Вот он – жизненный материал. Трое не сдавшихся, не сломленных, сильных. Смелых – причем не безрассудной смелостью молодости. Здесь мы видим людей, обременённых семьями, боящихся за близких – и, тем не менее, продолжающих следовать жизненному предназначению. Это ли не положительный пример для тех, кто пришел на смену поколению Быкова и Карпюка?..

Но борьба продолжилась даже после того, как Борис Самуилович в 1992 году покинул Беларусь... Намеченная на 27 марта 2009 года (в Минске) и объявленная презентация его книги была сорвана... Книгу старого историка представили в Гродно его ученики рассказывали о легендарном профессоре Клейне уже своим ученикам. Так продолжается его научно-педагогическая биография».

Еще свидетельство того, что я небезразличен родному городу. Редакция издания «Hrodna life» 5 ноября 2018 года сообщила:

«Историку Борису Клейну–90! Поздравляем и публикуем его Открытое письмо: до сих пор не созданы мемориалы Мицкевича, Костюшко, Быкова».

Вот фрагмент того Открытого письма:

«...Я вычеркиваю на листе бумаги давно ожидаемый национальный мемориал «Путь Василя Быкова». В него должны войти не только места рождения и смерти. Как квартира на бывшей улице Кошевого, старая редакция «Гродненской правды», писательский дом Элизы Ожешко–место наших с Карпюком полулегальных собраний (их посещал Быков). Другие города назовут свое заповедное – быковское».